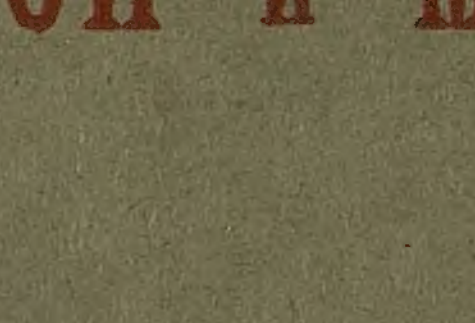
A35 7/56

А 33 т
56

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ

# ТОЛСТОЙ И МАРКС




Российский Институт Истории Искусств
ЛЕНИНГРАД 1924

ACADEMIA

22/XII 24
Эмвопис
А35 7/56

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ

# ТОЛСТОЙ и МАРКС

574/3

РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ИСКУССТВ
«ACADEMIA»
Ленинград—1924

Настоящее издание напечатано в типографии Первой Ленинградской Трудовой Артели Печатн. (Моховая, 40). Ленинградский Гублит № 16360. Тираж 5000.—
3¼ печ. лист.

Гос. Институт. Научн. Б-ка
НКП РСФСР
Инвент. № 466696.
" " 193 г.

# ТОЛСТОЙ и МАРКС [1]).

Товарищи, моя сегодняшняя тема, «Толстой и Маркс», выбрана мною не случайно. В настоящее время у нас, в России,—а в несколько видоизмененном виде и в других странах — одними из основных идеологий, разделяющих человечество, являются марксизм и толстовство. Конечно, никоим образом нельзя зачислять всех врагов марксизма в лагерь толстовцев. Марксизм, как известно, есть идеология пролетариата.


Государственная публичная историческая библиотека

| ПАСПОРТ | | | КНИГА ИМЕЕТ: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инвентарный № | № тома | Список № порядковый № | Количество страниц | Отд. томов, вып. №№ | Таблиц, карт, иллюстраций | Особые ценности: рукопись, автограф, письмо и т. п. | Дефекты | Печатных листов | Обрез |
| Шифр | | | | | | | | | |

Настоящее издание напечатано в типографии Первой Ленинградской Трудовой Артели Печатн. (Моховая, 40). Ленинградский Гублит № 16360. Тираж 5000.—
3¼ печ. лист.

# ТОЛСТОЙ и МАРКС [1]).

Товарищи, моя сегодняшняя тема, «Толстой и Маркс», выбрана мною не случайно. В настоящее время у нас, в России,—а в несколько видоизмененном виде и в других странах — одними из основных идеологий, разделяющих человечество, являются марксизм и толстовство. Конечно, никоим образом нельзя зачислять всех врагов марксизма в лагерь толстовцев. Марксизм, как известно, есть идеология пролетариата, есть классовая теория, могучее идеологическое орудие в руках рабочего класса в его борьбе с господствующим классом. Противостоит марксизму буржуазия со всеми ее разветвлениями и с теми народными массами, которые в силу своего невежества и социальной распыленности находятся под гегемонией буржуазии. Буржуазия менее всего может быть обвинена в толстовстве—она, как нам известно, империалистична; она, залив землю кровью в последнюю войну, готовит новые неслыханные вооружения и ухищрения, которые в следующую войну, нависшую волей буржуазии над человечеством, должны произвести ка-

[1]) Публичная лекция, читанная в Москве в 1924 г.

тастрофу еще несравненно более глубокую и способную поставить весь мир на край гибели.

Мы, марксисты,—в первую очередь революционные, единственно истинные марксисты-коммунисты,—ведем беспощадную борьбу с теми, которые сознательно отстаивают эти хищнические буржуазные позиции.

Идеологически никаких сил за буржуазией нет. Империалистическая буржуазия не может сама по себе придумать никакого оправдания своему существованию, своим тенденциям и тем преступлениям, которые она совершает. В последнее время буржуазия, можно сказать, отказалась от всякой апологетики, от всякой попытки морально защитить свой звериный облик. Конечно, угодливые журналисты и сейчас продолжают лить яд в умы и сердца масс, стараются влить туда патриотический дурман. Может быть прав Владимир Ильич в своем пессимизме, когда он уже после империалистической войны говорил, что быть может с новым призывом буржуазии под разноцветные знамена отечества еще очень и очень многие рабочие вновь окажутся одураченными патриотическим лозунгом и пойдут убивать друг друга за интересы своих эксплуататоров, тем не менее о серьезной идеологической борьбе здесь не может быть и речи,—есть косность мнений, есть определенная привычка к целям, есть недостаточная разбуженность критики. Если бы все это было стерто, если бы это отошло в сторону, то массы увидели бы перед собой ничем не прикрытый облик торжествующего зверя и, несо-

менно, прониклись бы к нему достодолжной ненавистью.

Правда, есть подсобная идеология у буржуазии, именно—меньшевизм, т. е. извращенный марксизм; социал-демократический марксизм стал тем фиговым листком, за которым буржуазия скрывает свой стыд: она сама не решается выступать перед массами с активной пропагандой каких бы то ни было своих принципов — она посылает для этого социалиста, она посылает для этого марксиста, которого массы согласны слушать, который говорит, как будто бы на их языке, который начинает с фразы о классовой борьбе с буржуазией, но который таким образом начинает за здравие, чтобы кончить за упокой революции, заговорив рабочему классу зубы искаженным, так называемым, эволюционным марксизмом, который передает в руки фатальности, судьбы ход вещей и взывает к пролетариату о терпении, об умеренности и аккуратности.

Меньшевизм с этой точки зрения есть, конечно, наш страшнейший враг и мы посвящаем чрезвычайно много времени борьбе с ним: мы прекрасно понимаем, что убить престиж меньшевизма в глазах масс это значит массу завоевать. И наша тактика беспощадной критики меньшевизма, и наша тактика единого фронта, которую мы сейчас практикуем, и наша тактика суровой чистки наших собственных рядов от всякого сомнительного элемента—все это есть по существу борьба с псевдо-марксизмом: с меньшевизмом.

Он силен—он является фактически едва ли не главной, по удельному весу, силой буржуазии. Из передовиков рабочего класса, из социал-демократического партийного аппарата буржуазия сумела сделать свою собственную агентуру, она зашла в виртуозности пользования меньшевизмом так далеко, что умнейшая и старейшая буржуазия мира—английская буржуазия—поручила даже меньшевикам правительственную власть. Она ни одной минуты не ошибалась, думая, что в руках Макдональда задачи консервативной власти буржуазии отнюдь не будут скомпрометированы, потому что это будет только новая форма более гибкого обмана, более ловкого околпачивания рабочего класса и создания, по возможности, иллюзий в недостаточно политически развитой массе, что ведь Британией правит сам рабочий, так чего же еще можно требовать! Так точно, как в течение последних полутора веков буржуазия надувала народ при помощи демократизма вообще, создавая иллюзии всеобщего голосования и мнимого выбора правительства массами в то время, как правительство было неизменно буржуазным, делало волю меньшинства и сковывало волю большинства, так и теперь, в новой стадии, буржуазия пытается создать социалистическое правительство, рабочее правительство с тем, чтобы и здесь точно так же, как под знаменем демократии, фактически утвердить незыблемо свою власть.

Товарищи, все же толстовство есть то миросозерцание, которое должно стоять на втором месте в числе этих наших дополнительных врагов—оно не

имеет очень большого влияния на пролетариат, но оно имеет сильнейшее влияние на интеллигенцию и, что в некоторых случаях важнее, оно может оказаться нашим конкурентом в воздействии на лучшую часть крестьян не только в пределах Европы, но и в глубинах Азии. Я приведу два маленьких примера, чтобы показать, в какой мере толстовство является нашим конкурентом в деле завоевания этих чрезвычайно важнейших союзников трудовой интеллигенции и трудового крестьянства.

Во Франции существует крупный писатель, Ромен Роллан, автор многих романов, повестей и публицистических работ, которые приобрели ему европейскую известность. Когда Р. Роллану было лет 25, он написал трогательное письмо Толстому, где он называл себя его духовным сыном, просил его благословения и указаний. Толстой понял по искреннему и талантливому тону письма, что ему говорит не первый попавшийся — он чрезвычайно внимательно и пространно ответил Р. Роллану. Недавно я читал в одной посвященной Р. Роллану статье такую, не лишенную знаменательности, фразу: «Лев Толстой был папой мировой интеллигенции и, сходя в гроб, рукоположил на этот пост Р. Роллана».

Действительно, к Р. Роллану еще до войны,—а в особенности во время войны, когда он занял строго-пацифистскую позицию,—посылали письма, к нему приходили ходоки со всех стран европейского и внеевропейского мира. Р. Роллан и сейчас претендует на то, чтобы откликаться на всякие политиче-

ские события. Недавно был факт—столкновение, острое столкновение между испанским фашистом Де Ривейра и крупнейшим испанским философом Унамуно. Правительство выслало Унамуно из Испании в Африку, или на какие-то острова. Р. Роллан разразился интеллигентской буллой по отношению к Де Ривейра. Правда, и буллы настоящих пап казались не всегда особенно грозными тому или другому народу, и нужно думать, что булла Р. Роллана отскочит от медного лба Де Ривейры, но все же газеты мира, вплоть до самых консервативных, напечатали это письмо Р. Роллана. Оно подняло большой шум и показало, что моральный вес этого человека очень велик и сейчас.

В прошлом году или около двух лет тому назад Р. Роллан написал письмо другому крупному представителю французской интеллигенции, автору книги «В огне», Барбюссу, нашему товарищу коммунисту, блистательно даровитому писателю, написавшему книгу о войне, переведенную на все языки мира и безусловно сказавшую о ней самую жестокую и самую прямую правду.

Барбюсс упрекнул Р. Роллана в том, что он не понимает всей важности организации насильственного переворота, организации народных сил *против* силы буржуазии; он грозно ему предсказывал, что вооруженная до зубов буржуазия сохранит в своих руках всю ту цепкую организацию, при помощи которой она не упускала из под своего влияния ни одного солдата и заставляла их питать своим телом вшей и

умирать под шрапнелью, вести братоубийственную войну, что всем этим буржуазия может погрузить народы в такое же бедствие вновь и что никакими хорошими словами, никакой проповедью, никакими принципами здесь ничего не изменишь, что против этой силы, адской силы буржуазии, можно выступить только с оружием в руках и что тот, кто не готовится сопротивляться, кто не готовится вырвать из рук этого разложившегося, гибелью человечеству грозящего, класса власть, тот является изменником делу человечества. И Р. Роллан с блеском толстовской аргументации выступил против Барбюсса с защитой чисто пацифистских положений. Одна часть европейской интеллигенции аплодировала Р. Роллану в силу своего убеждения, потому что она считала, что пацифистская позиция, позиция непротивления злу и насилию есть единственно правильная, что она рациональна, что только этой добротой, этим идеализмом может быть провозглашен «божий мир» на земле и может быть, на самом деле, исключена возможность войны. Другая часть аплодировала Р. Роллану лицемерно. Она прекрасно понимала, что подобным учением можно продлить годы власти буржуазии, что оно является великолепным защитительным аппаратом для буржуазии, что она может спокойно, как за каменной стеной, управлять страной, пока г.г. толстовцы и роллановцы будут стоять на своей позиции. Непротивление злу это есть выгодная форма оппозиции, по крайней мере бесконечно более выгодная форма, чем «оппозиция» революционная.

Другой пример. Для нас сейчас чрезвычайно важно не только то, что делается на Западе, для нас важно и то, что делается на Востоке. Одной из замечательных заслуг Владимира Ильича было именно то, что он указал на неразрывную связь пролетарской революции с крестьянской революцией в Азии. Гениальной мыслью Владимира Ильича было то, что европейский пролетариат сможет победить буржуазию,—при наличии разврата и закупленности верхов пролетариата меньшевистской тактикой,—только в том случае, если социальная революция передовых стран совпадет с революцией бедноты стран колониальных и полуколониальных, поэтому мы одинаково чутко относимся к тому, что делается на Западе и к тому, что делается на Востоке.

Гигантским резервуаром человеческих сил является Индостан с его 300 млн. населением, с населением в $2^1/_2$ раза превосходящим население нашего СССР, втрое большим, чем население Сое. Штатов. Этот колоссальный человеческий резервуар переживает сейчас определенное кипение. Всякие русла прокладывает себе индусская революционная мысль: там есть и коммунисты, но в виду сравнительной неразвитости в Индостане индустрии — коммунисты пока представляют небольшую закваску, которой в будущем предстоит оказать свое действие на националистическое движение в Индостане, захватившее огромное большинство туземного населения, передовые слои крестьянской массы, поскольку она тяжестью положения втягивается в анти-британскую политику. Вот эта националистическая толща разделяется на два те-

чения: с одной стороны, активное, которое готовит национальное восстание, где между прочим имеется большинство политически-мыслящих мусульман Индостана, а с другой стороны, с преобладанием адептов старой индусской культуры, движение Ганди. Ганди приобрел в Индии популярность святого; Ганди вырос в грандиозную фигуру вождя значительнейших масс Индостана. Его тактика — толстовская тактика; конечно, есть разница между Толстым и Ганди, но только в деталях—в общем это настоящий индусский Толстой. Как видно, там идет дело о том, за кем останется победа: за мирным приспособленчеством—культурным движением, самым острым проявлением которого является бойкот английских товаров, или за организацией вооруженного восстания масс против британского владычества.

Вот я взял эти два примера из разных областей, и из них ясно видно, что поскольку дело идет не о пролетариате—мы боремся в его недрах, главным образом с меньшевизмом—поскольку дело идет о важных для пролетариата союзных силах, постольку приходится считаться с толстовским влиянием. Вот почему интересно разобраться в отношениях, существующих между толстовством и марксизмом.

Как социальное явление, толстовство—не новость: во всех тех случаях, когда появляется новая общественная формация—концентрация капитала, значительное богатство, рост торговли и промышленности, когда это проникает в какую нибудь страну, там появляется движение, подобное толстовскому.

Остановлюсь на одном таком движении — очень древнем, и на двух-трех примерах из новейшей истории.

Не напрасно называют Толстого пророком — он в высокой степени похож на пророков библейских, потому что он является, несмотря на тысячелетия отделяющие его от пророков, повторением их, поскольку повторяются те же самые условия.

Чем объяснялось появление этих народных трибунов — библейских пророков, начиная со сказочных образов Илии и Елисея и т. д., до пророков ближайших к нашей эре? Оно объясняется тем, что еврейский народ, первоначально номадный, потом постепенно осевший и превратившийся в земледельческий, подвергся воздействию окружающей культуры, был втянут, с одной стороны, в естественный процесс концентрации земель, которая всегда происходит в земледельческом быту, а с другой стороны — в широкий торговый оборот и стал расслояться. В еврействе появилась аристократия, сложившая постепенно монархический образ правления и наживавшаяся за счет беднейших братьев. Она перенимала нравы торгово-земледельческих стран и вместе с тем ту религию, которая соответствовала этому земледельческо-торговому быту, религию передней Азии, представлявшей собой культ плодородия земли, культ Ваалов и Астарт со всей относящейся сюда пышностью и развращенностью, чрезвычайно заманчивой и увлекательной для людей обеспеченных и представляющей собой много культурной красоты, много пышности и виртуозности ритуалов.

Еврейские богачи увлекались вот именно этой

пышной стороной, так называемой, «языческой» религии и отходили от первобытной простоты. Одновременно с этим шло пожирание домов вдов и сирот, проникновение пышности, пурпура и виссона, винопития и разного рода ароматов, золотых украшений и т. д., культа женской красоты, грации, развращенности и отступления к чужеземным богам.

Все это была характеристика противоположного класса—зарождающегося капитализма, но капитализма очень первобытного, торгового—о подлинном индустриальном капитализме не могло быть и речи. И вот республика номадов, скотоводческая масса, резко протестует против этого нового, гнетущего ее порядка. Лучшие люди выступают с прямым политическим протестом. Низы протестуют против нравов господствующего класса; они резко его осуждают; они заявляют, что старина с ее относительным равенством, с ее добрососедскими отношениями и всей простотой быта, который был ей свойствен, есть единственно рациональное и что, де, наш бог, национальный бог, военный бог союза племен, каким был древний Израиль, благословляет эту правду, а все другое — отступничество от него.

За бога пророков хватались, потому что по тогдашним временам иначе слово человеческое ничего не могло значить: не ораторы выступали перед народом, а одержимые в полуэпилептическом трансе, провозглашавшие какие-то чудодейственные слова, в которых видели говорящего через них духа. Иначе нельзя было действовать на массы; все принималось в аспекте

анимизма, воздействия на жизнь незримой мощной силы.

Это было серьезным протестом. В чем он заключался? В защите существующего, даже в стремлении повернуть колесо истории назад, но при этом независимо от ссылки на бога нужно было анализировать это прошлое, нужно было его прославить, представить в более сладостных и достохвальных чертах, а следовательно, нужно было превратить его в идеал, нужно было поставить его не позади себя, а отнести вперед, т. е., прежний порядок, который кажется желанным в идеализированном, освященном виде, нужно было поставить как идеал, к которому должно стремиться.

Этим идеалом было мелкобуржуазное, мелко-мещанское, мелко-крестьянское довольство, когда каждый под кущей, под своей смоковницей, каждый питающийся от трудов рук своих, вокруг горы Сиона находился бы в полных добрососедских отношениях ко всем, а в силу этого божия правда и благосостояние воцарились бы, о каких бы социалистических идеях и проектах пророки ни говорили; да откуда бы их взять? Они говорили о равенстве, о парцелляризме, небольших хозяйствах. Это был кулацкий идеал, но кулацкий идеал в высшей степени развернутый, кулацкий не в смысле эксплуатации, а в смысле крепких хозяйчиков. Им кажется, что когда они живут в довольстве и добрососедских отношениях, мирно живут в идеале, то это равносильно перевороту на всем земном шаре: даже волк может пастись вместе с

ягненком, лев не тронет младенца и т. д. Тогда мир охватит всю землю, ибо добрососедские отношения мирно живущих своим трудом обывателей провозглашаются за основную, единую, незыблемую, важную и божию правду.

Перенесемся теперь гораздо ближе к нашему времени.

Франция. Французская революция объясняется, как вы знаете, ростом капитализма. Ко времени французской революции не только созрела французская буржуазия для того, чтобы потрясти основы и господство двух высших сословий, но она вместе с тем, одновременно с этими сословиями страшною тяжестью легла на крестьянство и мелкое мещанство. Французская революция сама по себе составляла сложное течение: крупная буржуазия стремилась завоевать конституцию, сделаться господствующим классом, а с другой стороны—мелкая буржуазия временно столкнула крупную буржуазию и, опираясь на всю массу мелких собственников и лишенной собственности бедноты, плебса, почти пролетариев, смогла осуществить конституцию 93 г. и продвинуться очень далеко в смысле демократизма. Это объясняется именно тем, что под духовенством и раззолоченным дворянством шел слой крупной буржуазии, а под слоем крупной буржуазии недифференцированная масса, которую можно назвать до некоторой степени «народом», потому что тут смешались интересы крестьянства и городской бедноты всех разновидностей.

Когда готовилась революция, то крупная буржуазия



[illegible] 466636

нашла своих представителей в лице интеллигенции, в лице верхов интеллигенции, интеллигенции более или менее устроившейся, признанной, ведавшей делом общественного мнения. Передовою частью этой интеллигенции были энциклопедисты. Энциклопедисты—Вольтер, Дидро, Даламбер, Гельвеций, Гольбах—верили в цивилизацию, в культуру; они полагали, что дальнейший рост индустриальных богатств, научных знаний, земледелия приведет к расцвету на земле, что нужно покончить с нерациональным строем, вытекающим из средневековых предрассудков, и на основании последних слов науки построить человеческую жизнь.

Но мелкая буржуазия не так об этом думала. Она с большим негодованием смотрела на эту пышность на науку, на искусство, поскольку оно ей только сулило, но ничего не давало, а в первую очередь служило росту мануфактуры, крупной торговли, развитию большого капитала, который ее душил. Вся эта цивилизация в сущности гнездилась по пышным отелям, образцовым имениям или большим промышленным заведениям, магазинам крупной буржуазии. Поскольку швейцарский часовщик, полупролетарий, всю жизнь служивший секретарем или полулакеем, спасавшийся от ареста полиции, искавший убежища, Жан‘ Жак Руссо, непосредственное порождение мелкой буржуазии, никогда не выходивший из ее среды, поскольку он продолжает линию библейских пророков в другой редакции, он говорит: «это от сатаны, это—Каиново начало». Ваши богатства, ваш блеск, ваша цивилиза-

ция, ваше искусство, ваша наука—все это не нужно, нужна на земле одна правда. В чем она заключается? В равенстве. Установим хозяйственное равенство. Равные хозяйчики должны войти в договор друг с другом и на основании его создать государственный строй, который соблюдал бы равенство каждого, при котором ни одна единица меньшинства не смела бы протестовать против большинства. Такой строй принципиального господства большинства, господства равных, по мнению Жан-Жака Руссо, является настоящим раем. Сюда он вливает идеалистическое содержание, тут люди воспитываются согласно природе, здесь — возвращение к прекрасному человеку, которого создала природа, но испортила цивилизация; здесь — обновленная подруга-женщина, подходящая просто, по матерински, великодушно, с грацией живого цветка к своим задачам, а не бездушная кукла, какою представляется цивилизованная женщина тогдашних верхов буржуазии и аристократии. Он открывает своего бога, он говорит: «Кто-то в моем сердце говорит, что люди должны быть равны. Кто-то говорит, что мы обретем великое наслаждение в живом труде, в единении с природой. Это — голос бога, который не нуждается ни в каких храмах, который живет в сердце каждого человека. Если ты, человек, перестанешь эксплуатировать ближнего, сделаешься честным тружеником на земле, то услышишь в своем сердце голос божий».

Англия. Несколько позднее в ту пору, когда уже не мануфактура, не торговый капитал шел, а

железной поступью шла машинная индустрия, фабрично-заводская индустрия и когда под ее чугунными стопами хрустели косточки изгоняемых из своих изб крестьян, изгоняемых кустарей и мелких конкурентов, в это время подымает свой голос английский пророк — Карлейль, и мы слышим у этого Карлейля те же самые ноты. Он говорит: «Вы восстаете против барина, замка, против феодальных отношений, но во время феодализма барин должен был заботиться о своих крестьянах, у него было к ним живое отеческое отношение, потому что это был его скот, который нужно было кормить, холить, потому что поскольку он не заботился бы о нем, постольку он сам становился беднее, а ваше отношение абсолютно бездушное, которым вы в кратчайший срок стараетесь выжать из бедняка, из эксплуатируемой вами «фабры» все соки его организма и перелить в лишнюю золотую монету; вы берете беспощадно детей и эти детские жизни бросаете в ваши машины, чтобы получить оттуда дешевый миткаль. Какое право вы имеете говорить, что вы либеральны, что вы за свободу, что вы чем-то оправданы в вашей борьбе со старшной? Старина была лучше, потому что тогда жили по-божьи, а что такое бог и божьи заветы? Это заветы добрососедских отношений. При упорядоченных отношениях не надо конкуренции, бездушного отношения друг к другу, не надо бухгалтерии, вычислений, барышей, борьбы, в которой сильный побеждает слабого и думает, что так и нужно. Надо вернуться к первобытной системе чело-

веческих отношений, надо вернуться к органическому существованию, к любви по отношению друг к другу».

Это все, по мнению Карлейля, предполагает религиозность, все диктуется внутренними чувствами человека, которые заглушены лязгом машин, фабричным свистом и звоном считаемых монет.

Я мог бы привести, конечно, бесконечное количество такого рода примеров, но вы видите, что повсюду, когда происходит или ускоряется процесс продвижения новых начал цивилизации, всегда старый мир выдвигает из своей среды своих гениальных сынов, которые протестуют против нового мира, опираясь на старую традицию, но идеализируют ее, представляя не такой, какой она была, а рисуют ее в самой идеальной форме.

Присмотримся немного с этой стороны к толстовству, как к социальному учению, мы сразу увидим, что толстовство это как раз, так сказать, пророческий взгляд на вещи, если разуметь под пророками именно трибунов реакции, революционеров реакционных, т. е. людей, которые революционно подымают знамя бунта против капитализма, но не во имя грядущего, а во имя прошлого, или иногда во имя прошлого, которое в преобразованном виде проектируется вперед, как будущее.

Действительно, Толстой идеализирует деревенские отношения по сравнению с городскими. Этому большому барину органически противно все буржуазное, ему противна индустрия, ему противна торговля, ему

противна буржуазная наука, ему противно буржуазное искусство, все — от мелкого мещанства, от мелкого чиновничества, которое он по-барски презирает, до толстопузого купца, до чванного своей наукой какого-нибудь доктора медицины или какого-нибудь инженера, или изящной барыньки, или вообразившего себя способным управлять зазнавшегося министра — все ему одинаково противно, все это не от того мира, с которым он был бы согласен жить в полном единении.

Можно было бы сказать, что первоначально социальный протест Толстого, — мы перейдем потом к его личному индивидуальному протесту, имеющему тоже в конце концов социальный характер, который сказался в его философском учении, — социальный протест Толстого есть протест барина против Колупаевых и Разуваевых, против пришествия чумазого капиталиста и чумазого интеллигента-разночинца; но этот великий барин — Толстой ищет учения, которое дало бы ему возможность жить подобно Шеншину, который в качестве поэта Фета писал вирши, а в качестве Шеншина был крепостником. Как Фет-Шеншин и он не прочь был поддержать дружбу с другими барами, которые стояли на точке зрения реакции, но сам-то он великолепно сознавал своим гигантским умом, что проповедывать барина это во всяком случае бесцельно и безнадежно, и не дает внутреннего удовлетворения. Об этом внутреннем удовлетворении придется еще поговорить сегодня. Поэтому возвеличивая де-

ревню, он прекрасно сознавал ее полярность. Что такое деревня? Барин и мужик.

Возвеличивать барина никак нельзя, потому что это значит возвеличивать чужеядного члена ее— хищника; барин живет чужим трудом. О каком равенстве может быть речь, если провозглашать прежде всего начало барства, это начало, в котором лежит черта хищнической эксплуатации, которую Толстой старается установить как главное клеймо, как основное проклятие ненавистной ему буржуазии? Но мужичек — другое дело, он очень сродни хорошему доброму барину, который и на завалёнке с мужичком посидит и покалякает; оказывается, что они приблизительно одинаково думают о необходимости урожая, о том, что какие-нибудь банки суть ростовщические лавочки, кулаки-кровососы и т. д.; по отношению ко всякой моральной и хозяйственной стороне им есть на чем сойтись, если не заговорить прямо о том, что их разделяет.

Все то, что Толстой мог, как идеальное, противопоставить буржуазному городу, это было крестьянство, как совокупность мелких хозяев, из которых каждый с своей семьей живет трудом рук своих, никого не обижая, живет от рождения до смерти, выполняя свою прямую обязанность сажать капусту, есть капусту и вновь сажать капусту.

Это полезное житье-бытье крестьянское наполняется внутренним светом и огромным содержанием. Мы сознаем, что такой человек выполняет высшее предопределение, что он, не обижая никого и уста-

навливая мир на земле, тем самым, в сущности говоря, приводит к внешнему выражению великую правду о мире, любви и ладном сожительстве. Осуществил ты его и твоя душа наполняется сознанием громадного покоя, который и есть по существу успокоение в боге, и самая смерть тебе тогда не страшна, потому что ты не носишься с собой, с своей собственной личностью, потому что ты не эгоист, не хищник, ты живешь, как живет растение и также спокойно отцветаешь на лоне того целого, того великого. Всего «все-бога», из которого ты родился и в который отходишь. Это есть подлинное счастье, это есть тот социальный строй, который нужно рекомендовать.

Когда Толстой рисовал утопии, а он как художник прибегал для этого к метафоре, он изображал грядущий переворот с большой гениальностью, так, как он сделал это в «Сказке об Иване дураке». Иван-дурак заявляет, что он ссориться ни с кем не хочет, и когда чужестранцы приходят в страну Иванов-дураков и хотят ее завоевать, они не сопротивляются. Они говорят: ну, бейте, покоряйте, порабощайте нас, мы не будем сопротивляться и кончен бал!

Утопичность этой идеи бросается в глаза сразу. Совершенно ясно, что здесь какая-то внутренняя коренная ошибка, коренное заблуждение, о котором я еще скажу, потому что есть среди людей хищные и есть жвачные люди и ясно, что проповедь жвачных отношений, проповедь непротивления есть проповедь на пользу хищникам, и что такой чужеземец, придя

в страну Иванов-дураков, будет очень рад и скажет: хорошо, я на ваши шеи сяду и буду на вас ездить и буду эксплуатировать и вас и детей ваших.

И вот, когда Ганди проповедует в Индии сопротивление Британскому Правительству, это очень хорошо, но когда он проповедует сопротивление в такой форме: вас учат сопротивляться с оружием в руках, а вы сопротивляйтесь путем долготерпения,— тогда Ганди фактически обезоруживает индусских Иванов-дураков и превращает их в подлинных дураков, и Британское Правительство может сердиться, когда Ганди проповедует, чтобы не покупали британский ситец и сырье, но норовит использовать Ганди со всеми онерами: пусть не покупают ситец, но терпеливо сносят все другие неудобоносимые бремена, которые угодно Британскому Правительству возло́жить на индусских Иванов-дураков.

Но Толстой полагал иначе и думал, что такая утопия может осуществиться.

Я хочу отметить одну черту. У Толстого есть внутреннее биение, раздвоение; будучи великим художником, а не простым публицистом, которые могут обманывать себя, принимать за чистую монету то, что они говорят, — он прекрасно понимает, что, в сущности говоря, внутренним содержанием социальной картины, которую он рисует, как идеал будущего, является уже прошлое, и он делает в этом отношении прекрасное признание в знаменитой «Сказке о зерне с куриное яйцо». Вы помните, что находят какой то предмет с куриное яйцо величиной;

никто не знает, что это такое; зовут старика; приходит дряхлый хромой человек, из которого песок сыплется; спрашивают его, что это такое.—«Я не знаю»,—говорит,—«но у меня жив отец, позовите его, он, должно быть, знает». Послали за отцом; за отца его сразу и не признали, он мужик крепкий, бодрый. Вошел он, посмотрел. «Не знаю»,—говорит,—«спросите у моего отца, он еще жив». Позвали и его отца,—тот совсем молодец молодцом, почти молодой человек, никакая смерть не берет. Взял, попробовал на зуб и говорит:—«да это зерно!—такая пшеница у нас была».—«Почему такая пшеница?»—«Мы агрономов не знали, наукой не занимались, вели хорошее крестьянское хозяйство, земля и рожала».

Таким образом, Толстой прямо апеллирует к золотому веку, мнимому, никогда не существовавшему, и прекрасно это сам понимает. У Толстого есть некоторые социальные иллюзии, которые заставляют его думать, что Иваны-дураки как-то перетрут своих завоевателей, этих хищников. У них нервы, что ли, окажутся крепче! В роде того, как в христианском представлении: ударили тебя в левую ланиту, ты подставь правую, ударили в правую, ты опять левую, опять правую, опять левую, может обобьет руки, скажет: эх ты, чорт, какое долготерпение, ничего не поделаешь; даже усомнится после этого, почешет затылок, скажет:—может быть неправ я, может быть, тут силой господней оказался мученик, оттого такое и долготерпение.

Нечто подобное и у Толстого. Толстой верит, что

при таком непротивлении совестно станет человеку насильничать, верит, что можно хорошими словами, поддержанными подвигом терпения, так сказать, побудить злодея к тому, чтобы в нем проснулось настоящее божеское начало.

Владимир Соловьев, который был большим мистиком и почти православным человеком и стоит в этом отношении более направо от нас, чем Толстой, имел с Львом Николаевичем беседу, в которой пришел прямо в ожесточение.

Толстой доказывал, что ни при каких условиях нельзя пускать в ход насилие.

— Да, как же так, а если вы видите, что какой нибудь негодяй истязает ребенка, ну, что вы сделаете?

— Уговаривать его буду.

— Если уговоров не слушает?

— Еще буду уговаривать.

— Он замучает ребенка на ваших глазах.

— Ну, значит, такова воля божия.

Потому что употреблять насилие нельзя ни при каких условиях. Упорство, сектантское упорство, которое проистекало из веры, что этим путем можно переговорить людей.

И не только один Владимир Соловьев приходил в раж от этих слов. Действительно можно в конце концов выскочить из всякого «христианского» терпения, слыша подобные утверждения.

Прекрасную сатиру на Толстого создал Щедрин в знаменитой сказке—«О карасе-идеалисте и ерше».

Под ершом колючим описывает Щедрин реалиста, человека себе на уме, который знает, где раки зимуют, а идеалист-карась, философ, все растабарывает с ершом на всякие высокие темы. Ерш и говорит:— «проколю я тебе иглой пузо, потому что очень уж тошно от твоих разговоров, никогда эти разговоры ни к чему доброму не приводят, а вот заглянет скоро щука в нашу заводь, она тебе покажет».

— А что такое щука? — говорит карась,— я знаю такое слово, что она обалдеет и обратиться в мою веру». Тут, смотришь, щука и явилась. Карась к ней:— «А знаешь ты, щука, что такое *правда?*» Щука до того удивилась, что потянула в себя воду и проглотила карася.

Это верно, так и бывает всегда. Фактически совершенно невероятна утопическая вера в то, что возможно через посредство мирной пропаганды переделать мир.

Очень странно на первый взгляд, что такой человек, как Толстой, не ставит перед собой некоторых первоначальных задач. Он полагал, что в каждом человеке имеется искра божия, искра добра, которую нужно уметь раздуть, на которую нужно уметь подействовать и что этим путем в конце концов он и ученики его смогут переделать мир. Он так думал, как социальный реформатор, но потом мы увидим, что он был не только социальным реформатором. Он ставил высоко евангелие, он ставил высоко и Конфуция, и других мудрецов, но особенно евангелие и Иисуса, и историческую личность которого крепко верил.

Удивительно, почему Иисус, евангелие, первые апостолы, которых так обожал и так высоко ставил Толстой, почему они ни капельки человечество не переделали? Прошло около двух тысяч лет, а человечество, по мнению самого Толстого, осталось таким же преступным, чванным, погруженным во всевозможные пороки. Почему же нам надеяться, что Толстой с его учением за другие две тысячи лет добьется большего? Если более сильные, каким признал он Иисуса, не могли, то не смогут сделать и другие. Сколько мир стоит, социальная неправда существует, все время возникают проповедники и говорят свои карасьи слова и все время их либо игнорируют, либо проглатывают, а щучье царство стоит себе непоколебимо.

Теперь мне нужно подойти к толстовству с несколько другой стороны. Все это кажется нелепым, если излагать как социальное учение, но это было не только социальное учение, это была жажда найти внутренний мир для самого себя и вместе с тем найти путь к этому внутреннему миру и преподать этот внутренний мир всем жаждущим.

Толстой как барин и высоко культурный барин страдал не только от зловония этой самой чумазой культуры, он страдал еще от страшной болезни,— индивидуализма.

Толстой был невероятно ярко выраженная личность, поэтому он и мог сделаться великим художником и, как великий художник, был наделен необыкновенной по сравнению с нормальной человеческой сте-

пенью восприимчивости ко всем внешним впечатлениям, огромной глубиной эмоциональных переживаний.

Это был человек огромных страстей и жизнь доставляла ему безумное удовольствие.

Я мог бы привести множество красноречивых страниц, где вы чувствуете какое блаженство для Толстого жить, ощущать тепло и холод, запах и вкус, видеть перед собой природу, с каким наслаждением он рассказывает о том растении, которое избили, иссекли со всех сторон и которое все-таки хочет жить во что бы то ни стало, сопротивляется.

Жажда жизни, самоутверждения была у Толстого поистине исполинская, и этот маленький по росту человек производил впечатление кипучего источника энергии. Может быть, никто так хорошо не дал живого портрета Толстого, как Максим Горький, который с чуткостью большого художника сумел восстановить не елейного старца в роде «господа бога-отца», а подлинного Толстого, кипящего страстью, с вечным сквернословием на устах, с энергичными нецензурными выражениями, с ненавистью по отношению к несогласно мыслящим, готового лезть в спор, противоречащего самому себе, потому что потом, после он кое-как выравнивал эти противоречия, но внутри его клокотали безумные противоречия. Метафорически заставляя себя опускаться на колени: «это не человек», говорит Горький, «а колдун какой то по силе ума, по богатству ресурсов духовных!»

Если каждый человек хочет жить и не хочет умереть, то тем более интеллигент, у которого лич-

ность выпирает на первый план, который живет своей оригинальностью; если он художник, адвокат, врач, это есть его орудие завоевания определенного социального смысла своего существования; такой интеллигент больше дорожит своею жизнью и больше боится смерти; он с тоской обращает свои взоры к крестьянину, дикарю, к животным, которые не боятся смерти.

И Толстой с напряженной жизнью, бьющей фонтаном, как гейзер, особенно любил жизнь и боялся смерти. Это в нем доминирующая нота—неистовый страх смерти. Как это так будет, что прекратится этот чарующий поток жизненных впечатлений,—это великая проблема для Толстого. Как найти мир, не обуреваться ужасом того, что все проходит, все течет, все тает, ничего на самом деле не существует, ни я—Лев Толстой, ни окружающие дорогие люди, ни природа, ничего нельзя остановить, все изменяется, разрушается, все есть беглый призрак, образ, написанный на дыме.

«Я это сознаю, сам вижу как я таю, как жизнь бежит у меня между пальцами. Всегда можно видеть, как «это» пробежало, промчалось и нет ничего, нуль, дыра, небытие».

Это мучило его несказанно и в дневнике он вечно к этому обращается. Когда он прочел дневник одного западно-европейского писателя Алексля, ни о чем не говорившего, кроме как о страхе смерти, он сказал: это настоящий человек, это великая проблема. Человек, который может забыть о смерти, это, по мне-

нию Толстого, уродливый человек, это тупой человек, не ставящий себе центральной проблемы, но, может быть, и счастливый человек. Потому что нельзя суметь закрыть глаза на ужас смерти, а когда этот призрак стоит перед глазами, нельзя быть спокойным. Надо искать бессмертия. Где же искать этого бессмертия?

Другой интеллигент, тот же Владимир Соловьев, искал его в метафизике. Верь, говорили они, верь в то, чему учит церковь. У тебя бессмертная душа, что там сомневаться!

Но Толстой был слишком умный человек, он и после того, как создал гигантскими силами лестницу, по которой подобрался к идее бессмертия, более или менее еще сомневался.

У него на самых последних страницах дневника есть заметки: «Сегодня плохо верю, господи, помоги моему неверию». «Утром проснулся с твердой верой в бога, знаю, что все, чего чаю, исполнится, благодарю бога за оказанную помощь». И через два дня: «Страшными сомнениями обуреваюсь»... и т. д. до самых последних минут.

Надо было эти сомнения вдвинуть в какое-то другое русло, тут наступает большая работа для этого самого барина, который, как интеллигент, старающийся победить свою индивидуальность, проходит такой же путь, находит успокоение в идеале христианском. Он рассуждает: все в мире бегло, преходяще, смертно, но, может быть, есть вечное, незыблемое, непреходящее, всегда себе равное; если бы что-то

подобное можно было найти, то надо было бы целиком к нему прилепиться. Прилепиться к этому вечному, непреходящему, всегда себе равному, это значит найти спасение. Найти в себе такое вечное, значит найти в себе бессмертие. Стало быть, надо искать. Вообще веру, скажем ту, которой учит православная церковь, нельзя признать. Это преходящее, источенное, зараженное всякой ложью.

Вы знаете, Толстой был беспощадным врагом церкви, всяких церковных обрядов. Он умел и маленькими зеленоватыми глазками посмотреть на вещи так, чтобы прожечь их как купоросом. Он шел в театр на Вагнера и писал о том, что видел, и все выходило так глупо, что всякий говорил себе: как я мог сидеть и думать, что это искусство? Все эти раскрашенные картонажи, эти актеры, которые широко открывают рот, поют чепуху, все эти куклы, это годится только для детей, но и для детей скучно, и при этом звенит медь, пиликают скрипки. Все это, по мнению Толстого, сумбурно. Такими описаниями он лишает произведение всякого аромата.

Также точно говорит он о суде. Приходят люди судить человека, разбить ему жизнь из-за проступка, вытекающего из сложнейшей личной его драмы, из законов социальной природы. И судьи—жалкие чиновники, один переговаривается, другие переваривают пищу, один недоволен женой, другой ковыряет в зубах. И вся процедура изображена строго правдиво, так, как на самом деле.

Также относительно церкви. Вот приходит свя-

щенник, надевает парчевый мешок, который является вид-мундиром чиновников византийских царей в известную эпоху, производит разные манипуляции, ненужные, которые представляют искаженное повторение хозяйственных манипуляций давнего прошлого. Все это пошло и нелепо. Только потому, что люди не могут просто посмотреть на вещи, они могут продолжать думать, что тут есть смысл, есть какая-то поэзия.

Так глядя на вещи Толстой все разрушает вокруг себя. Вокруг него одни развалины: монархия, патриотизм, суд, наука, искусство,—все разрушено, подлинно как в одной сцене «Фауста» хор духов поет: «Великий, ты разбил как стеклянный весь круг вселенной». Так можно было бы петь о том ударе, который наносил Толстой с меткостью и холодной злобой всему тому, что старалось его прельстить, чтобы добиться какой-то сердцевины, которая постоянна.

В чем же заключается эта постоянная сердцевина? Социальные наблюдения и индивидуальные наблюдения над самим собой научили его, что борьба за удовлетворение своих страстей с другими людьми, эта конкуренция в самом широком смысле этого слова есть главное зло, то, что беспрестанно тревожит человека, что выводит его из равновесия, что в нем мучительно.

Нечего удивляться, что к этому Толстой пришел, это обычно, так и Сидар-ха-Будда пришел к тому же выводу. Такой же барин, человек чуждого мира, также смотрел он на всю склоку общественного строя. Нельзя ли уйти от этого тем, что перестать бороться

за свои эгоистические цели? Тогда можно приобрести мир, покой. Страсти, вот что не даст мира и покоя.

Может ли быть жизнь без страстей? Может быть. Это если отойти совершенно от всякой любви к каким бы то ни было внешним благам, перестать ценить внешние блага и их нагроможденность и заменить их любовью к людям. Причем эта любовь у Толстого невелика, нельзя сказать, чтобы он страстно любил людей и высоко их ставил. В конце жизни он говорил: собственно не следует учить, все равно ничего хорошего не выйдет, а надо душу спасать, позаботиться о себе самом. Впрочем, в лучшую пору жизни он говорил, что нужно заменить вражду любовью к людям, что нужно считать позором и грехом обидеть другого человека. Уступи, отойди—в этом любовь к людям, избегай столкновений с братом твоим—человеком из-за каких бы то ни было благ, ибо все эти блага мнимые. Вот тогда как будто выйдет так, что человек ото всего временного упасется, внутри его будет какая-то успокоенная жизнь.

Когда Толстой старался найти в себе такую успокоенную жизнь, найти мир, он признавал, что он ее обретает, что он как-то близок к этому, что в лучшие моменты он, таким образом, находит действительно подлинный покой.

В этом есть некоторая глубокая правда; само собой разумеется, что внешний человек мучится всякими житейскими треволнениями. Если он сумеет своеобразно себя загипнотизировать и все треволнения отбросить, то на некоторое время действительно

наступает безоблачная тишина внутри. Эту тишину Толстой бесконечно ценил и в ней он признал путем некоторого насилия над собой,—он в этом признавался, — подлинное бытие, настоящую сущность жизни, святую жизнь или «жизнь в боге».

Тот внутренний покой, которого человек может добиться ценою любви и заключения мира со всем окружающим, наполняется сейчас же светом радостного существования, беззлобного и не стремящегося ни к каким внешним целям бытия, а его социальный идеал—христианский, об этом он сам говорит, заключается в том, чтобы каждый жил трудом своих рук, никого не задевая, не стараясь сделаться богатым, ни к чему не стремясь как только к тому, чтобы продолжать свое собственное существование; вот постольку Толстой провозглашает жизнь ладом. Он—крестьянин—знает бога, потому что и бог его знает, этот идеализированный крестьянин такой мужик, какой *должен* быть, своими руками себя пропитывающий, беззлобный и мирный сосед.

Так заканчивается круг, своеобразно в русский цвет окрашенных, толстовских идей, родственных идеям Руссо, Карлейля, Лао-цзы, Будды и всех мыслителей, которые знаменовали собою подобные моменты культурного развития, каждый в своей стране, в свою эпоху. Открывши эту истину, Толстой начинает проповедывать. На этом мы пока его оставим.

Теперь, что такое представляет собою марксизм.

Марксизм есть учение свойственное пролетариату. Это есть учение, приспособленное к классовым инте-

ресам пролетариата, но именно потому совершенно объективно рисующее действительность. Тут сразу нужно сказать, как оно относится к противоположному миру—толстовскому. Оно приемлет цивилизацию полностью, приемлет полностью и науку и искусство и даже богатство, накопление богатств—капитализм. Марксизм есть порождение города, а не деревни, он смотрит вперед, а не назад. С Толстым он встречается в одном—в жгучей ненависти к буржуазии, потому что буржуазия сделала свое дело и стала вредна. Все противоречия, порожденные строем города так же понятны марксисту, как и толстовцу; из этих внутренних противоречий нарождается борьба элементов, которая в дальнейшем приведет к победе над старым миром, но не путем отказа от науки, искусства, цивилизации, индустрии города—поворота назад, а путем дальнейшего развития на этом пути. Это дальнейшее развитие приводит за собой разорение, обеднение крестьянства и мелких собственников и порождение лишенного всякого имущества пролетариата, последнего из классов.

Но этот последний класс работает на машинах, представляющих собою осуществление передовых слов науки, работает при помощи гигантских органов труда, начинающих одерживать подлинную победу над природой, он работает огромным коллективом на мировой рынок и все это создает почву для всемирного пролетарского объединения, которое сможет вырвать науку, прикладную технику, всю совокупность цивилизации из рук классов, употребляющих ее для

своих интересов в корыстных целях, и превратить ее в орудие всего человечества. Тогда, вооруженные этим орудием, мы сможем победить природу и со сравнительно небольшими затратами труда добиться всего того, что нам нужно для полного удовлетворения наших потребностей. И когда эти непосредственные животные потребности будут удовлетворены в верхнем этаже этого мира равных, где каждый есть собственник общего производственного имущества, мы построим цивилизацию свободных личностей, у которых не *будет причин* для борьбы друг с другом, и которые могут вместе расцвести в великолепное разнообразие типов на уже организованном производственном процессе. Таково миросозерцание марксизма.

Первое возражение, которое толстовство может сделать, таково: вот вы упрекали Льва Николаевича в непонимании, что много лет прошло после евангелия, а люди не переделались, несмотря на всякие проповеди, в лучшую сторону, ну, а вы? Вы тоже должны знать, что революционных попыток насилием создать человеческое счастье было немало, почему же вы ждете, что возможно для большинства, вырвав вооруженной рукой цивилизацию из рук меньшинства, создать совершенно новую, небывалую эпоху в истории человечества?

Это возражение глупо. Почему оно глупо, почему падает?

Потому, что никогда не было в истории человечества такого расцвета науки, как в XIX—XX столетиях, такой фабрично-заводской промышленности, ни-

когда не было таких путей сообщения, никогда не было капитализма в его нынешних формах. Человечество не просто растет, переходя из детского состояния в зрелое — есть известная волна подъемов и снижений, развития цивилизаций и их разложения, но когда мы исторически конкретно обозреваем пути прошлого человечества, мы видим, что в отношении науки и индустрии оно шло вперед и доросло до такой вершины, на которой никогда, конечно, не стояло.

Вообще, если бы во все другие времена социализм победил, если бы свершилось такое чудо, и бедняки разделили бы тогдашние орудия производства, разделили имущество богатых, то мир от этого, пожалуй, сделался бы еще беднее, но сейчас мы можем сказать, что при правильном употреблении *нынешних* орудий производства можно добиться достатка для всех, только сейчас может быть разрешен вопрос о том, чтобы добыть у природы столько пищи и других необходимых благ, чтобы человечество было богато. Если человечество сейчас еще не богато, то только потому, что нынешняя наука и нынешняя техника, которые так быстро развиваются у нас на глазах, употребляются в корыстных целях обогащения отдельных капиталистов и при наличии конкуренции между отдельными трестами, национальными капиталами и т. д. Таким образом это возражение отпадает.

Тогда приводится другое возражение такого рода: ну, допустим, что вы сможете таким путем урегулировать вопросы желудка, но вы грубейшие материа-

листы, какие только есть на свете, вам только и интересно, чтобы брюхо у всех было набито, и это ваш высший идеал, а мы хотим найти покой, бога обрести в себе; для вас ничего этого не существует, только одна сытость.

Мы отвечаем, что это ни откуда не следует. Из того, что мне хотелось бы, чтобы каждый мог каждый день пообедать, не следует, чтобы он жил исключительно для обеда, а наоборот, для того чтобы он работал, мыслил, наслаждался жизнью, он должен обедать. Человек живет не для того, чтобы питаться, но без питания не может жить.

Эта задача общественного питания, общественных жилищ, общественной одежды, эта задача урегулирования первоначальных основ быта в высшей степени важна, да и толстовцы этого не отрицают, потому что и в их идеале мы находим людей, которые трудом рук своих все-таки находят себе сносное существование. Мы тоже не предполагаем, что в этих материальных благах, самих по себе, заключается самоцель, но мы говорим: когда эти вопросы будут разрешены и отпадут, когда экономические порядки сделаются чем-то самим собой разумеющимся, тогда выступят на первый план высшие потребности человека, потребности в знании, творчестве, любви к другим людям, завоевание природы теоретическими знаниями и практическое.

На это возражают: вы не даете настоящего решения вопроса. Почему вы думаете, что социалистическое разрешение экономических задач приведет не-

пременно к гармонии людей между собой? Почему люди сделаются тогда *лучше?*

На это мы возражаем опять таки совершенно резонно: мы так же, как и вы не верим, что человек от природы зол. Если бы мы в это верили, мы думали бы, что добро состоит в том, чтобы разными скорпионами его перевоспитать, что его нужно отдать в выучку не столько педагогам, сколько палачам, которые бы держали его в цепях, как бешеное животное, каленым железом выжигали его пороки. Но мы верим, что «искра божия» (почему «божия»? гг. толстовцы), есть в человеке, т. е., что он представляет живое существо, которому нет надобности злобствовать и терзать другие существа, если его потребности удовлетворены; человек человеку нужен, когда нет причины враждовать—человек человеку приятен, как друг, как сотрудник, как предмет его любви, как его ребенок и т. д. Во внутренних семейных отношениях, там, где семья одна, где нет внешних причин для раздора, там вы встречаете то, что называется высоким именем братства.

Почему нельзя представить себе жизнь человечества как братство, как семью, в которой все братья и сестры?

Да только потому, что существует частная собственность и конкуренция: брошены кости, за которые грызутся люди; и костей недостаточно,—если не будешь грызться, пропадешь! И в этой борьбе возникают громадные состояния; владеющий ими человек боится упустить их из рук и должен громоздиться

вверх, чтобы удержать занятую им позицию. В результате мы видим всеобщую свалку, хищнический мир частной собственности ее создает. Как только это будет прекращено, никаких препятствий к тому, что вы называете «искрой божией», а мы естественным характером человека, как животного, не будет и он даст самые лучшие плоды.

Мало этого. Социалистический строй представляет собой не только отсутствие необходимости враждебной конкуренции, но и колоссальную организацию *сотрудничества:* труд каждого ведет к обогащению всех и труд всех к обогащению каждого, это создает прочную основу для экономической солидарности и нет никакой опасности, чтобы эта солидарность должна была как нибудь нарушиться.

Следующее возражение толстовцев: ну хорошо, но вы хотите облиться кровью, облить других кровью. Допустим на минуту, что это правильно, и что социализм создаст новые условия, и что можно на основе индустрии, вырванной социализмом из рук капиталистов и превращенной в орудие всего человечества, создать всеобщее довольство. Допустим, что люди смогут тогда жить согласной жизнью, но через какие жертвы это идет? Вот сейчас, в недавние годы, когда была гражданская война и красный террор, в это время толстовцы со своим пацифизмом свирепствовали среди нашей обывательской интеллигенции, они говорили: где этот социализм, где это всеобщее довольство, получили ли вы что-нибудь, лучше ли жить? Обыватель отвечал: «хуже, во сто раз хуже, одни

обещания, что будет лучше, а на самом деле теперь хуже, идем в крови по горло». Если эти обещания даже и исполнятся, то стоит ли совершать все эти ужасные преступления, все это братоубийство, чтобы получить какую то коммунистическую действительность? Хор обывательский голосит: «не стоит, никоим образом не стоит!» Хотя большая половина обывательского хора не говорила бы так, если бы был не красный террор, а белый, и меры насилия применялись с другой стороны. Но эта половина просто представляет классовых врагов, а мы будем говорить о тех, кто искренне убежден, будучи промежуточной группой, что можно по хорошему, мирно, пацифистски разрешить эту проблему.

На это можно сделать два возражения: во первых, вопросы социальной жизни не зависят от воли отдельных людей, это есть исторический процесс, который имеет свои законы, а потому хочет или не хочет этого Толстой или Маркс, но когда низы человечества, униженные, оскорбленные, затоптанные—подымаются, когда в их сознании возникает и крепнет мысль, что они в состоянии взять за горло тех, кто их угнетает,—они перестают слушать пацифистов и берут за горло угнетателей и закипает страшная вражда. Тогда возникает вопрос: уйдешь ли ты от борьбы для сохранения чистоты своих одежд или поймешь, что в этой борьбе, в которой еще неизвестно кто победит, каждый лишний адепт, пополняющий хотя бы только тыл, есть величина, которая должна быть практически учтена.

Владимир Соловьев спрашивал Толстого, что будешь делать, когда истязают ребенка? А мы говорим: как можно быть безучастным, если человечество поднялось на последний бой, чтобы вырвать его в числе бесчисленных миллионов и грядущих поколений из ужаса того мира неправды, который и вы, толстовцы, осуждаете? Можно ли, раз борьба закипела, путаться между ногами и говорить: перестаньте бороться, зачем бороться? Это будет ничем иным, как пустой тратой слов и осуждением себя на историческую бесплодность.

Но допустим, что дело зависело бы от нас, что вопрос шел бы об историческом процессе, зависящем всецело от нашей воли. В этом случае при сознании, что либо человечество будет плестись прежним шагом по историческому кругу, безысходно испытывая все ту же бесконечную тяжесть нищеты, болезней, пороков, невежества, под которыми оно гибнет, либо необходимо рвануться для того, чтобы разбить этот жизненный круг и из него выйти, если бы для этого даже нужно было заплатить тяжелой цепой крови, неужели мы не выбрали бы второго?

Бывают обстоятельства, когда останавливаться перед жертвами нельзя.

А какая нежность проявляется здесь у толстовцев, как они начинают ценить отдельную личность и отдельную жизнь, как они забывают все свои слова о выше жизни стоящей цели, все свои речи о подвижничестве!

Надо помнить, что человек способен на героизм и это, может быть, нечто наиболее святое, что в нем

есть, способен посмотреть на себя не как на самоцель, не как на последнее звено бытия, перенести центр своей любви на громадное строющееся дело, и на себя посмотреть как на стропителей, как на камни этого строения, как на элемент, входящий в огромный поток, вал, устремленный к организации грядущего, и тогда станет ясно, что если нет никакого другого процесса, кроме социально-хирургического, кроме определенного столкновения одной воли против другой, кроме хирургической очистки тыла для того, чтобы не сломлен был всей зараженностью тыла наш святой гражданский фронт, если нет другого исхода,—мы берем на себя с внутренним сознанием своей правоты этот крест.

Тот, кто осуждает на смерть других, а сам не готов умереть за великое дело, отвратителен. Но тот, кто понимает, что и человечество переживает кризис, во время которого все поставлено на карту, и в случае неудачи будущее бесчисленных поколений может пойти по рабской дороге, а в случае победы по дороге освобожденного от экономических оков человечества, какими мы быть не можем, вследствие чего мы себя не очень и ценим, но какими нашими страданиями, нашей борьбой могут быть наши дети и внуки, мы, конечно, не сомневаясь ни минуты, выберем борьбу и победу.

Вот тут наше центральное разногласие, и вот почему. Здесь сшибаются между собой два миросозерцания. В современной Германии интеллигенция пришла в великое внутреннее колебание, она ненави-

дит буржуазию, которая дала ей войну и разгром, она ищет путей вне-буржуазных и она распадается, в лучшей своей части, на два русла. Одно идет в направлении коммунизма и хочет сплотиться с левыми группами пролетариата, старается завладеть вниманием и сочувствием масс и произвести переворот, хотя бы он затянулся на 10—15 лет, хотя бы он был тяжел, но рвануться к настоящему свету, к рациональной организации человеческого быта, руками пощупать, не только глазами видеть правильную хозяйственную организацию человека на земле и сокрушить тех, кто стоит на дороге и из своекорыстных целей не дает человеческим массам добраться до разумной жизни.

Другие говорят: мы напуганы войной... Еще раз кровопролитие?.. Да будет ли победа? Стоит ли вообще? Не лучше ли провозгласить сопротивление внутреннее, поискать пути святости, единения с миром иным? Есть другой мир, в который мы придем вратами смерти или через посредство экстаза. Начинается игра с мистикой, в которой центральное место занимает Толстой именно потому, что он не апеллировал к легковерию, что он говорил как будто вещи рационалистические, почти не упоминал о потустороннем мире... Обрети бога в себе и отойди от борьбы! Да будет мир в человецех, все остальное приложится.

Когда нам приходится вести борьбу за каждого человека, за каждый десяток людей, важно как они определяются: один приходит в лагерь фашизма ми-

рового, другие в лагерь меньшевизма. Это все прямые враги. Третьи идут в наш лагерь. Но есть такие, которые не идут ни направо, ни налево, ни теплые, ни холодные, ни черные, ни красные, остающиеся бесполезными в этой жизни, ищущие неисторического пути, не тянущие назад, ни влекущие вперед, уходящие в сторону, в пустоту. Их нам, во-первых, жаль, жаль персонально, потому что в их мнимом самоудовлетворении мы видим самоудовлетворение обмана, иллюзии; во-вторых, жаль, как потерянных для социального строительства сил, в третьих, наша обязанность вербовать как можно большее количество сторонников, поэтому мы должны стараться сорвать пелену с их глаз, раскрыть их очи на то, чего требует настоящая действительность.

Это пожалуй легко — быть толстовцем. Я присматривался ко многим из них и я не заметил особенного подвижничества. Правда, в тех случаях, когда приходится отказываться от воинской повинности, бывают тяжелые конфликты, никогда, однако, они не достигали такого массового проявления, чтобы серьезно потрясти живоглотный строй. Обычно от прямого конфликта устраняются:—«я толстовец», говориться очень много хороших фраз, а в конце концов в идеале устроения жизни, глубокое мещанство.

Я наблюдал одного очень хорошего толстовца в Швейцарии, где он устроил жизнь, по его мнению, святую совершенно. Я плохо различал эту жизнь от жизни самого заурядного крестьянина. Большой огород, пропасть капусты, вечные ленивые щи, вечное

копанье огорода, душе-спасительные разговоры, от которых претит, потому что это бесплодное толчение воды. И к нему, как к великому учителю сходились разные люди, ели капусту, пили молоко и слушали его капустно-молочные речи.

Это в конце концов легко, потому что действительно это мир и тлен. И вот вторгнуться, ввергнуться в самую бездну борьбы социальной, истерзаться ее противоречиями, побуждаясь постоянно медным голосом истории, что теперь зовет на подвиг и жертву, это вещь, которая по моральной высоте бесконечно выше всей этой жвачной материи.

Кончая сегодня очерк противоречий двух миросозерцаний, я расскажу одну христианскую, очень острую по-своему легенду. Она рассказывает о том, как господь-бог ходил с Николаем Мирликийским и со св. Касьяном по земле. Они встретили увязший в каком-то болоте крестьянский воз. Господь бог сказал, что надо мужику помочь, но Касьян, одетый в свои сияющие райские ризы, заявил: «не полезу я, господи, в болото, что же я буду пачкать мои ризы». А Николай полез, побарахтался в болоте, уцепился в колесо и выволок воз. Вышел он весь перепачканный, но грязь эта обратилась в сияющий свет, какой-то несказанной яркости, бриллианты украшали его одежду. И сказал бог Николаю: «раз ты не побоялся пойти в грязь, чтобы помочь ближнему, будешь праздноваться два раза в год, а Касьян раз в четыре год».

Вот так и толстовец слишком хочет соблюсти свою чистоту и поэтому настоящего дела любви де-

лать не может, оно остается почти словесным; порою, прислушиваясь к такому громовому времени, как наше, он отбалтывается, отбрехивается от громадных требований, которые ставит жизнь.

И нам хочется, чтобы эта сейчас еще сильная позиция, которая имеет свои моральные аргументы, свой художественный авторитет в великом Толстом, который в разных местах пускает новые отростки,— нам хочется, чтобы она не задержала интеллигенцию по пути ее к соединению с пролетариатом, которому она нужна, которому она на первых порах нужна будет настолько, что без нее он просто не может приступить к строительству нового коммунистического строя.

Заинтересованные этим мы впредь, рядом со всеми другими предрассудками, будем вести борьбу и с этим, на вид красивым, подкупающим, на самом деле усыпляющим совесть и энергию, толстовским предрассудком.

[illegible]

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО

„ACADEMIA“

РОССИИСКОГО ИНСТИТУТА ИСТОРИИ ИСКУССТВ.

Ленинград, просп. Володарского, 40. Телефон 138-98.

Москва, Тверская, 29. Телефон 64-38.

## ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ.

| | Цена. |
|---|---|
| **В. Н. Перетц.**—Краткий очерк методологии ист. русской литературы . . . . . | 1 р. 50 к. |
| **Ф. Ф. Зелинский.**—Возрожденцы. В. I. . . . . | — р. 60 к. |
| **Ф. Ф. Зелинский.**—Возрожденцы. В. II. . . . . | — р. 80 к. |
| **Б. М. Энгельгардт.**—Гончаров и Тургенев по неизданным материалам Пушкинского Дома . | 1 р. — к. |
| **Оскар Вальцель.**— Импрессионизм и экспрессионизм в современной Германии (1890—1920). Перев. под редакцией проф. В. М. Жирмунского . . . . . | — р. 40 к. |
| **Оскар Вальцель.**—Проблема формы в поэзии. Со вступительной статьей проф. В. М. Жирмунского: «К вопросу о формальном методе» | — р. 40 к. |
| **В. М. Жирмунский.**—Байрон и Пушкин . . . . | 2 р. 80 к. |

### ВОПРОСЫ ПОЭТИКИ.

**Непериодическая серия, издаваемая Разрядом Истории Словесных Искусств.**

| | |
|---|---|
| Вып. I. **А. Слонимский.**—Техника комического у Гоголя . . . . . | — р. 50 к. |
| Вып. II. **Б. В. Томашевский.** — Русское стихосложение. Метрика . . . . . | 1 р. — к. |
| Вып. III. **В. М. Жирмунский.**—Рифма, ее история и теория . . . . . | 1 р. 80 к. |
| Вып. IV. **Б. М. Эйхенбаум.**—Сквозь литературу. Сборник статей . . . . . | 1 р. 60 к. |
| Вып. V. **Ю. Тынянов.** — Проблема стихотворного языка . . . . . | — р. 90 к. |
| Вып. VI. **В. Виноградов.**—Этюды о стиле Гоголя | — р. — к. |

## ТЕАТР, МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ИСКУССТВА.

| | Цена. |
|---|---|
| **Вопросы литературы и драматургии.** Диспут в Малом театре 26 мая 1924 г. под председ. А. В. Луначарского . . . . . | — р. — к. |
| **А. А. Гвоздев.**—Из истории театра и драмы . | 1 р. — к. |
| **Очерки по истории европейского театра,** сборник статей, под ред. А. А. Гвоздева и А. А. Смирнова . . . . . | 2 р. — к. |
| **И. Клейнер.** — У истоков драматургии. Опыт обоснования метода исследования драматургических произведений . . . . . | 1 р. 50 к. |
| **В. К. Мюллер.**—Драма и театр эпохи Шекспира | — р. — к. |
| **Старинный театр в России.**—Сборник статей под редакцией акад. В. Н. Перетца . . . . . | 1 р. — к. |
| **Карл Гагеман.** — «Игры народов» (восточный театр). Пер. с немецкого, под ред. А. А. Гвоздева (*с иллюстрациями*). | |
| Часть I. Индия . . . . . | 1 р. — к. |
| Часть II. Япония . . . . . | — р. — к. |
| Часть III. а) Китай, б) Африка . . . . . | — р. 90 к. |
| **Н. Н. Евреинов.**—Азазел и Дионис. (О происхождении сцены в связи с зачатками драмы у семитов) . . . . . | 3 р. — к. |
| **Е. Э. Бертельс.** — Персидский театр (с иллюстрациями) . . . . . | — р. 80 к. |
| **А. В. Финагин.**—Русская песня . . . . . | — р. 60 к. |
| **А. В. Преображенский.**—Культовая музыка в России . . . . . | — р. 80 к. |
| **Арнольд Шеринг.**—История музыки в таблицах | — р. — к. |
| **Г. Кречмар.**—История оперы . . . . . | — р. — к. |
| **Марцинский.**—Метод экспрессионизма (со вступительной статьей Н. Э. Радлова) . . . . . | 1 р. 60 к. |
| **Фридлендер.** — Литография. Перевод под. ред. Н. Э. Радлова . . . . . | — р. — к. |
| **Задачи и методы изучения искусств,** сборн. статей . . . . . | 2 р. 20 к. |

Цена.

**Рихард Гаман.**—Обоснование эстетики . . . . — р. — к.
**К. М. Миклашевский.**—Гипертрофия искусства — р. 50 к.
**В. Херцфельде** — Общество, художник и коммунизм. Перевод А. И. Зубовой . . . . . — р. — к.
**Урбан Гад.**—Кино. Пер. О. И. Радовского . . . — р. — к.

## ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

**Иннокен. Анненский.**—Тихие песни. Стихи . . 1 р. — к.
**М. А. Кузмин.** — Новый Гуль. Стихи . . . . . — р. 60 к.
**Анат. Наль.** Элегии и стансы. Стихи . . . . — р. 60 к.
**Н. Н. Евреинов.**—Пьесы. (Репертуар «Кривого Зеркала») . . . . . 1 р. 30 к.
**А. И. Пиотровский.** — Падение Елены Лей. Пьеса в 5 актах. Иллюстрации костюмов и постановки художника М. Левина . . . . . 1 р. — к.
**Анри де Ренье** собр. соч. в 17 томах, перев. с франц. под общ. ред. М. А. Кузмина, А. А. Смирнова и Фед. Сологуба.

Вышли: т. II. Дважды любимая . . . . . 2 р. 20 к.
т. VI. Каникулы скромного молодого человека . . . . . 1 р. — к.
т. VII. Встречи г-на де Брео . . . . 1 р. 50 к.
т. X. Оттенки времени . . . . . 1 р. 60 к.
т. XVI. Загадочные истории . . . . — р. — к.
т. XI. Первая страсть . . . . . — р. — к.
т. VIII. Живое прошлое . . . . . — р. — к.

Цена каждого тома Ренье в переплете на 15 коп. дороже.

---


**СКЛАД ИЗДАНИЙ:**
**Магазины «ACADEMIA»**

Ленинград, пр. Володарского, 40. Тел. 138-98.
Москва, 1) Тверская, 29. Тел. 64-38. 2) Моховая, 26.

Цена 40 коп.


СКЛАД ИЗДАНИЙ:

магазины „ACADEMIA“

ЛЕНИНГРАД, пр. Володарского, 40. Тел. 138-98.
МОСКВА 1) Тверская, 29. Тел. 84-38. 2) Моховая, 26.